

МОНСТРЫ И МАРГИНАЛЫ ПИСЬМА, А ТАКЖЕ ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ — ЧИТАЯ ДНЕВНИКИ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЩАСТНОГО

Степан Попов

УДК: 82–95.

Ключевые слова:
маргинальный автор,
маргинальная литература,
советский дневник,
позднесоветская эпоха,
рабкоры, критическая теория,
история литературы.

Аннотация

Перед этим эссе стоит всего одна задача — сделать попытку адекватно прочитать публикуемые материалы Владимира Васильевича Щастного, а также кратко обрисовать те историко-литературные сюжеты и социально-политические контексты, которые можно счесть наиболее актуальными для него как автора (или — наиболее релевантными для опыта чтения его «странного» типа письма). Помимо этого, в эссе представлен обзор некоторых подходов к изучению культурной маргинальности, разработанных в границах критической теории второй половины XX века.

Monsters and marginals of literature and where they come from – reading the diaries of V.V. Schastny

Stepan Popov

Keywords:
Marginal Author, Marginal Literature,
Soviet Diary, Late Soviet Era,
Rabkors, Critical Theory,
History of Literature.

Abstract

This essay has only one purpose – to make an attempt to adequately read the published materials of V.V. Schastny and to outline the cultural, social and political contexts relevant to him as an author (or – relevant for experience of reading his «strange» texts). In addition, the essay provides an overview of some of the approaches to the study of cultural marginality developed within the framework of the critical theory of the second half of the 20th century.

Стиль письма пенсионера Владимира Васильевича Щастного следует определить даже не столько как «странный» или «неестественный», сколько как — и это, по всей видимости, будет наиболее справедливая и точная оценка, — **монструозный**.

Часто Щастный значительно удлинняет фразу, использует для описания стандартных бытовых ситуаций слишком много слов, по сути дела — проясняет и без того очевидные, обычно не проговариваемые детали и подробности: «Во второй половине дня ездил в баню на улице Ленина. Когда я уже помылся и ополоснулся холодной водой, я отдал свое мыло незнакомому мне мужчине *по его просьбе* [здесь и далее, если это не оговорено отдельно, курсив мой — прим. С.П.]» [Боярский 2019а]. Или: «Сегодня пришлось неплохо поработать на водозащите, чтобы не пустить воду в подпол. Вынесено из ограды 60 ведер, *вычерпывалась вода банкой с переливом в ведро*» [Боярский 2019а]. Такими необязательными, ненужными уточнениями переполнены тексты Щастного.

В особенности — записи о медицинских процедурах¹, которые делаются пишущему: «В 10 часов посещала медсестра. Она сделала мне вливание пенецелина *в правую ягодицу*... <...> В 22–30 еще раз приходила медсестра произвести вливание пенецелина *в ягодицу левой ноги*» [Боярский 2019а]; «Врач выписала мне... вливание лекарств *путем уколов в вену рук*» [Боярский 2019b] и т.д.

Выполняя, на формальном уровне, свою коммуникативную задачу, — давая изложение произошедших с пишущим событий, фактически, хронику его повседневной жизни, — письмо Щастного, тем не менее, оказывается избыточным. Иногда текст даже становится автопародийным: «Счастливо и жизнерадостно встретили свой праздник женщины, живущие в доме ветеранов труда... <...> *Я приветствовал всех женщин от имени себя*» [Боярский 2019b].

Отдельные выражения, встречающиеся в записях Щастного, также невозможно охарактеризовать иначе, как **монструозные**. К примеру: «Христинюшка [жена В. Щастного — прим. С.П.] приезжала ко мне за деньгами. Денег я ей не дал, в результате чего уехала домой, *не забыв проявить свое сверхплохое поведение*» [Боярский 2019b].

1. Следует отметить, что Щастный преимущественно фиксирует именно инвазивные процедуры, то есть — связанные с прямым вторжением в тело пациента. Понятно, почему рассказ о сделанных ему инъекциях Щастный ведет не от первого лица, используя вместо этого пассивный залог («сделала мне вливание»): это единственно возможный здесь способ описания. Любопытно, однако, что к повествованию в пассивном залоге в целом пишущий, без какой-либо особенной мотивировки (и вне контекста медикалистского дискурса), в своих записях обращается весьма часто. О возможной функции и значении чего — будет отдельно сказано далее.

Еще: «Я помогаю другу подняться с кресла, он чувствует себя слабым, мне его жалко, я, невольно прослезившись, целую друга и веду его в свою комнату. *Вот как получается настоящая человеческая взаимосвязь дружеская*» [Боярский 2019b].

Образцы **«монструозной»** речи можно обнаружить и в личных письмах Щастного, копии которых тот прикладывает к своему дневнику: «Просьба купить для меня отрывной календарь-справочник. Когда будешь по служебным делам в Тюмени, *зайди ко мне для беседы на домашне-бытовые темы*» [Боярский 2019c]. Или в более формальных записках, которые он посылает врачам дома-интерната (и которые также помещает в тексте дневника): «Просьба обратить Ваше внимание на приготовление мясных блюд из языков и сердец, кои надо пропускать через мясорубку. *По моему это мероприятие позволит полностью использовать мясные блюда*» [Боярский 2019b].

Это обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует о том, что **пишущий опознает собственную манеру письма как легитимную; последняя перестает действовать исключительно в границах интимного жанра, перестает функционировать как «язык для себя» — и используется уже для социальной коммуникации.** Дополнительным аргументом тому может послужить следующий эпизод из его записей: «Проведена беседа с ученицей 5 класса средней школы № 30 [имя ученицы — прим. С.П.] и даны ей в подарок журналы “Наш современник” за 1969 год... <...> При вручении журналов посоветовал ей завести свой дневник» [Боярский 2019a]. Легко предположить, что за советом завести дневник последовали и инструкции по способу его ведения и заполнения.²

2. По крайней мере, в той культуре, в которой воспитывался Щастный и в которой он формировался как пишущий, руководства по ведению личных дневников, безусловно, существовали, оказывали определенное влияние на их авторов и играли важную идеологическую и культурную роль. О чем более подробно может рассказать, например, Йохен Хелльбек: «...судя по “книжке красноармейца” периода Гражданской войны, по крайней мере некоторые революционные активисты пытались использовать дневник в целях политического воспитания. <...> ...предписание вести дневник вполне соответствовало общей стратегии Красной армии, направленной на ликвидацию политической неграмотности бойцов и выработку в них чувства сопричастности борьбе, имеющей всемирно-историческое значение» [Хелльбек 2017: 58]; «...существуют некоторые свидетельства того, что еще в 1920-е годы ведение дневников использовалось в советских школах как педагогический инструмент — не только для совершенствования речевой выразительности, но и как средство саморазвития...» [Хелльбек 2017: 62]; «...помимо включения их авторов в советский проект, ведение дневников имело и общественную цель. Дневники и воспоминания должны были обсуждаться в рабочих бригадах и публиковаться в стенгазетах, чтобы воспитывать и мобилизовывать отстающих членов коллектива» [Хелльбек 2017: 66]. В связи с проблематикой советских дневников см. также книгу Ирины Паперно: [Паперно 2009].

Вообще же, высокая социальная активность Щастного, — и в частности, его попытки распространить личные практики на других, сделать их предметом общего интереса и, самое главное, использования, — составляет специальную, обособленную проблему; и о которой, возможно, следует сказать отдельно.

Помимо этого, в **монструозном** стиле Щастного можно выделить еще одну особенность (уже, впрочем, отмеченную выше): пишущий очень часто, — и что характерно, немотивированно, фактически, в качестве негласного правила, — использует пассивный залог вместо активного и оказывается, таким образом, субъектом без действия, без какой-либо выраженной агентности.

Такой модус письма Щастный использует при описании повседневных и досуговых практик: «Вместо лекарств в порядке лечения *пришлось выпить водки с молоком и перцем*, в результате сильный кашель успокоился. *Закончено чтение замечательной книги* об Октябрьской революции глазами зарубежных участников...» [Боярский 2019a]; своих дел по хозяйству: «*Вымыты потолки* в обеих комнатах и кухне, *произведена побелка известкой* капитальных стен и русской печи. *Побелку произвела [sic!] Христиньюшка*» [Боярский 2019a]; и даже актов социального взаимодействия: «В первый раз прогулка по коридору после возвращения из больницы Мартынова Н.В. *С помощью меня сегодня сделали прогулку [sic!]*. Трижды прошлись» [Боярский 2019b].

Грамматическое здесь, однако, лишь иллюстрирует концептуальное: сознательная элиминация присутствия субъектности в письме отражает и сознательную элиминацию присутствия субъекта в самом же пишущем.

Так, в своих записях Щастный почти что не производит персональных оценок происходящих с ним событий. Если что-то он и фиксирует, то лишь собственные эмоциональные состояния, редкие аффекты, возникающее по тем или иным поводам, — чаще, безусловно, неприятным: «Только я успел открыть дверь, как Ванька оказался у постели моей жены. Она быстренько одевается и уходит с ним... Вот с кем пропивает мою пенсию моя жена... <...> *Это позор, несчастье и оскорбление для меня*» [Боярский 2019a]. Но иногда и более радостным: «Но вот дверь в мою комнату открывается, пришла внучка [имя внучки — прим. С.П.] с мужем [имя мужа внучки — прим. С.П.], что *для меня составило приятное явление*» [Боярский 2019b].

Остается, тем не менее, не вполне понятно, как читать, понимать и интерпретировать Щастного. **Маргинал** по происхождению и сложившейся биографической траектории (о чем дает достаточно ис-

черпывающее представление автобиография пишущего³) — Щастный производит такое же, **маргинальное** и неконвенциональное, письмо. И все же, стоит сделать попытку оценить его материалы. Начать следует издалека.

В «Берлинской хронике» Вальтера Беньямина есть одно любопытное автоэтнографическое наблюдение: «Если я пишу по-немецки лучше большинства писателей моего поколения, то в основном благодаря двадцатилетнему соблюдению единственного правила: *никогда не употреблять слова “я”*, кроме как в письмах» [Беньямин 2005: 174]. Сформулированные здесь Беньямином правила письма, до известной степени (и что уже было продемонстрировано), разделяются и Щастным. Эта аналогия, при ее кажущейся надуманности или несерьезности в действительности не лишена определенного концептуального потенциала и дает весьма продуктивную рамку для анализа.

Из автобиографии Щастного известно, что в 1920-е годы тот был вовлечен в рабкоровское движение. Этот опыт Щастный описывает как воодушевляющий, в первую очередь — от появившейся возможности много и активно писать, от самого факта создания текста. Любопытно, что трактовка функций рабкоровского движения, даваемая Щастным, — не вполне корректна.

Сергей Третьяков, один из его идеологов⁴, настаивал на том, что рабкоровские тексты ценны прежде всего своей политической миссией и способностью перформативно менять социальную реальность. Пересказывая же мотивы рабкоров, неверно понимающих свои цели и задачи, Третьяков замечал: «Большинство заметок даже не старается сделать какие-нибудь выводы. Нельзя же считать выводом концовки: “надо подтянуться”, “давайте об этом говорить”, “пора изжить”... и т.д. Это простейший тип заметки. Чисто информационный. Человек видит что-то и рассказывает о виденном... <...> Для них заметка — самоцель. Это — профессионалы по ловле “социальных блох”. У этих людей задача рабкорства стоит вверх ногами» [Третьяков 2000а: 223]. Щастный, гордый лишь от количества произведенных им текстов, в этой перспективе, безусловно, проявляет

3. Отдельно важно здесь то обстоятельство, что Щастный с детства страдал от эпилепсии: впоследствии это сильно осложнило его профессиональную жизнь. Можно даже сказать, что болезнь предопределила выпадение Щастного из полноценной социальной жизни.

4. Стоит сразу отметить, что связь между Беньямином и русским авангардом 1920–1930-х, в первую очередь, выстраивалась именно через работы Третьякова. О чем, в частности, см., например, здесь: [Чубаров 2018].

себя как несознательный рабкор. Однако это не означает, что он не владеет рабкоровским типом письма — или не понимает его специфики.

В частности, то, что Щастный, фиксируя какие-либо события, стремится описывать их максимально полно, с большим количеством деталей и так, будто он дает инструкцию по воспроизводству своих действий, — отвечает установке рабкоровского письма на точность и «нелитературность» выражений, на устранение коннотативного поля текста, рационализацию процесса производства письма в целом. Виктор Шкловский, еще один идеолог рабкоровского движения, писал по этому поводу⁵: «Настоящая литературная школа состоит в том, чтобы научиться описывать вещи, процессы. Например, очень трудно описать словами, без рисунка, как завязать узел на веревке. Описать вещи точно так, чтобы их можно было представить и только одним способом, тем самым, которым они описаны» [Шкловский 2018: 628].

Более того, само по себе **положение Щастного в собственном тексте, то есть положение не как автора и главного героя повествования, а исключительно как «безличного» оператора письма, также вписывается в рабкоровскую литературную программу.** В другой своей статье все тот же Третьяков отмечал: «Индивидуально специфические моменты у людей в биографии вещи отпадают... но зато чрезвычайно выпуклыми становятся профессиональные заболевания данной группы и социальные неврозы... <...> В “биографии вещи” эмоция становится на подобающее ей место и ощущается не как личное переживание. Здесь мы узнаем социальную весомость эмоции...» [Третьяков 2000b: 72]. Предлагая не столько описывать вещи вместо людей, сколько попробовать увидеть и осознать возможность производства текстов уже о социальности и о включенности человека в социальность и материальный мир, мир вещей и производственных процессов, — Третьяков, фактически, тем самым устраняет, **отменяет** привычку рефлексировать о субъекте как о глав-

5. См. также любопытный совет, который Шкловский дает молодым авторам в своей книге «Техника писательского ремесла»: «Вот нужно посмотреть на предмет, как-будто вы про него не знаете... Если вы хотите описать хозяйчика, который угнетает рабочего, то не называйте его сразу хозяйчиком, а покажите его в работе... Нужно идти от описания к названию, а не от названия к описанию» [Шкловский 1930: 21]. Весьма примечательно, что постулируемый здесь Шкловским проект письма, не называющего (денотация) вещи, а только изображающего (сигнификация) их, — сходен с размышлениями, к примеру, Ролана Барта о характере «языка дровосека», то есть типа письма с преобладающим «операциональным характером» и устанавливающим с предметом описания «транзитивные отношения» [Барт 1989: 115]. Более подробно о концептуальных связях между советской и французской критическими теориями см.: [Калинин 2012].

ном источнике и материале любого рассказа, фикционального или нефикционального⁶.

Щастный, очевидно, симпатизирует этой концепции Третьякова. Возможно, именно поэтому он так активно пересказывает в своих дневниках новости (обязательно международные!), которые слышит по радио, узнает из газет или телепередач: «Новое время No 12, 1970 г. Происки империализма в Индокитае. Фашистский закон. Союз монополий и военщины в США» [Боярский 2019a]; «У телевизора. Сегодня последний день дружественного визита Л.И. Брежнева во Францию. Я и [имя друга — прим. С.П.] смотрели передачу по телевизору» [Боярский 2019c]. Конспектируя новостные сводки, пишущий таким образом вписывает себя в широкий социальный и политический контекст, стремится ощутить себя как часть и как актора большого исторического процесса (а не как частного индивида, проживающего свою частную жизнь).

Здесь, впрочем, следует сделать еще один шаг в сторону.

Уже Антонио Грамши определяет «народную культуру», то есть культурные практики непривилегированных сообществ (и, соответственно, — письмо непрофессиональных **маргинальных** авторов), как подражательную, вторичную или просто зависимую от доминирующего, «высокого» культурного дискурса: «Существует стилистическое различие между сочинениями, предназначенными для публики, и другими, например между литературными произведениями и письмами... <...> ...в мемуарах и вообще во всех сочинениях, предназначенных для узкого круга и для себя самого, преобладает умеренность, простота, непосредственность, тогда как в других сочинениях часто преобладает напыщенность, риторика, декламационный стиль, стилистическое ханжество. Эта “болезнь” настолько распространена, что передается народу, из-за нее “писать” означает теперь взбираться на ходули, создавать праздничную атмосферу и “предпочитать” излишне болтливый стиль, во всяком случае, выражаться не так, как обычно принято» [Грамши 1959: 514]. Согласно Грамши, воспринимаемый как престижный,

6. Важно, что и Беньямин разделяет эту литературную установку — в частности, в своем «Берлинском детстве на рубеже веков». Это становится ясно сразу же, из предисловия к книге: «...биографические моменты в моих набросках, проступающие скорей в силу непрерывности, а не глубины жизненного опыта, отходят на задний план. А с ними и лица — школьных товарищей и родных. Зато мне было важно воссоздать **картины** [выделено автором — прим. С.П.], в которых отразилось восприятие большого города ребенком из буржуазной семьи» [Беньямин 2012: 9]. Интересна формулируемая Беньямином задача текста: показать себя, в первую очередь, как субъекта социальной жизни; применить рамки социального (и даже антропологического) анализа — по отношению к самому исследователю, по сути дела — к самому себе же.

«высокий» литературный дискурс адаптируется непривилегированными сообществами и вследствие чего — тривиализируется, становится пародией.⁷

Мишель Фуко, напротив, пытался представить непривилегированных как способных говорить «за самих себя». По мысли философа, **угнетенные** лучше знают собственную ситуацию и собственный опыт, и поэтому вполне готовы самостоятельно о них рассказывать: «...интеллектуалы поняли, что массы ради знания в них уже не нуждаются. Дело в том, что массы сами прекрасно и отчетливо все знают, знают даже намного лучше, чем интеллектуалы, и гораздо лучше могут это выразить» [Фуко 2002a: 68]. Более того, Фуко подчеркивал, что задача интеллектуала в этих обстоятельствах сводится лишь к созданию таких политических условий, где речь **угнетенных** будет услышана и воспринята адекватным образом: «...главная задача интеллектуала состоит не в том, чтобы критиковать сопряженные с наукой идеологические положения или же действовать так, чтобы его научная деятельность сопровождалась правильной идеологией; она заключается в том, чтобы знать, возможно ли установление новой политики истины» [Фуко 2002b: 209].

Гайатри Чакраворти Спивак, возражая Фуко, напротив, настаивала на том, что желание интеллектуалов позволить, наконец, **угнетенным** (субалтернам) говорить за самих себя утопично: любой дискурсивный способ выражения, пишет Спивак, уже апроприрован властью, и любая речь любого угнетенного, соответственно, будет искажена. Единственный же способ для **угнетенных** произвести какое-либо автономное высказывание, — это обратиться к невербальным, к примеру, телесным практикам самовыражения и тем самым избежать ситуации, где язык подводит говорящего, действует в пользу того, кто пытается его же и репрессировать [Spivak 1988].

7. В этой связи любопытно, что и советская теория 1920-х подмечает эту особенность рецепции культурного канона со стороны «народных» реципиентов. Осип Брик, в частности, пишет, что часто угнетенный стремится мимикрировать под угнетателя, стремится копировать принадлежащие ему культурные образы и модели поведения: «Есть рассказ Яковлева о чекисте, который влюбился в советскую барышню. Этот чекист ездит с барышней и со своими приятелями по Волге. Приятелям его флирт не нравится. Чекист поднимает барышню на руки и хочет бросить ее в воду. Полная инсценировка Стеньки Разина и княжны...» [Брик 2000: 84]. Важна, тем не менее, также и оценка, даваемая Бриком этому явлению: «...чекист и барышня могут казаться похожими на Стеньку Разина и княжну; но познавать чекиста и барышню через художественный образ Стеньки и княжны — это не значит их познать, а значит затемнить дело... Важны не общие черты, не общая схема, а индивидуализация факта» [Брик 2000: 84].

Щастный же показывает, что **маргинальное** — это не обязательно вторичное, оппозиционное культурной норме или, наоборот, искаженное ею. Прежде всего, это прослеживается в том, как пишущий в своих материалах работает с идеологическим дискурсом.

Если дневник 1920–1930-х годов, — как его описывает все тот же Хелльбек, — стремился апроприировать официальный идеологический дискурс, произвести на его основе идентичность автора и таким образом позволить последнему «нормализоваться» в новых политических и культурных обстоятельствах⁸, то **дневник Щастного воспринимает идеологию не как автономный дискурс (с которым необходимо выстроить некоторые отношения), а как язык или, точнее, — даже как своего рода риторический механизм.**

При помощи идеологии Щастный дает советы своим близким: «Прошу тебя больше *не позорить себя пьянкой перед семьей и коммунистической партией*. Веди себя как *настоящий коммунист...*» [Боярский 2019a]. Используя идеологический нарратив, пишущий также исследует социальную реальность и производит свою оценку последней: «...я счастлив и благодарен советскому правительству за возможность пенсионерам *отдыхать* и спокойно жить в *домах интернатах*» [Боярский 2019b].

Важно, однако, что идеология не имеет здесь какого-либо символического капитала или культурного авторитета. Напротив, идеология выполняет простую структурирующую функцию: она только позволяет пишущему находить наиболее подходящие, точные выражения для описания действительности и собственных ощущений от нее; по сути дела — лишь дает Щастному готовые, легкие для усвоения, экономичные формы письма.

И стоит дополнительно зафиксировать: как Щастный манипулирует советским идеологическим нарративом, так он манипулирует и европейским авангардным дискурсом 1920-х годов (где можно обнаружить и Третьякова, и Беньямина). Используя те языковые ресурсы, которые ему предоставляют эти дискурсы и большие нарративы, Щастный, однако, не мимикрирует под последние, а остается самим собой, остается автономной фигурой.

8. Хелльбек по этому поводу пишет следующее: «Многие авторы дневников сталинской эпохи были увлечены поиском того, кем они, в сущности, являются и как они могут преобразовать себя. <...> Их дневники были действенными инструментами для вмешательства в собственное Я и сопряжения его с осью революционного времени» [Хелльбек 2017: 19–20]. Взгляд на советский дневник 1920–1930-х годов как на лабораторию по производству идентичности — и как на специфическую форму установления «персональных» отношений с идеологическим дискурсом — разделяет также Игал Халфин: [Halfin 1997].

Будучи настоящим **монстром** письма, Щастный, таким образом, адаптирует не принадлежащие ему дискурсы и нарративы, искажает их, использует их концептуальный и литературный потенциал в свою пользу. Как тот читатель-браконьер Мишеля де Серто, он «движется по землям, которые ему не принадлежат, словно номады, браконьерствующие на территориях, которые не были покрыты их письменами» [де Серто 2013: 292].

И соответственно, будучи настоящим **маргиналом**, Щастный не остается подавленным или **угнетенным**, а становится фигурой, проявляющей себя через агрессивный, в какой-то степени даже захватнический тип культурного поведения и социальной коммуникации. Щастный оказывается не жертвой, а наоборот — агрессором.

И если бы конвенциональная история литературы смогла бы увидеть Щастного, научилась бы его читать и интерпретировать (и таких же, как он⁹) — то, пожалуй, как дисциплина последняя бы только **приобрела** (а не потеряла).¹⁰

Список источников

1. [Беньямин 2005] — *Беньямин В.* Берлинская хроника // Павлов Е. Шок памяти. Автобиографическая поэтика Вальтера Беньямина и Осипа Манделштама. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 165–209.
2. [Беньямин 2012] — *Беньямин В.* Берлинское детство на рубеже веков. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. 144 с.
3. [Боярский 2019а] — *Боярский Л.* Еще один год из жизни тюменского пенсионера / Публ. дневника В.В. Щастного. URL: [link](#) (дата обращения: 15.09.2019). См. с. 247–255 наст. изд.
4. [Боярский 2019б] — *Боярский Л.* Один год из жизни тюменского пенсионера. Ч. 1. / Публ. дневника В.В. Щастного. URL: [link](#) (дата обращения: 15.09.2019). См. с. 255–261 наст. изд.

9. Стоит отметить, что таких монстров письма, как Щастный, советский Архив, в действительности, содержит в огромном количестве. Сам по себе Щастный здесь — лишь одна из наиболее заметных и удивительных фигур.

10. См. по этому поводу также следующий материал: [Костин, Попов 2021].

5. [Боярский 2019с] — *Боярский Л.* Один год из жизни тюменского пенсионера. Ч. 2. / Публ. дневника В.В. Щастного. URL: [link](#) (дата обращения: 15.09.2019). См. с. 261–268 наст. изд.
6. [Третьяков 2000а] — *Третьяков С.* Рабкор и строительство // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000. С. 221–226.
7. [Третьяков 2000b] — *Третьяков С.* Биография вещи // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000. С. 68–73.
8. [Шкловский 1930] — *Шкловский В.* Техника писательского ремесла. М.; Л.: Молодая гвардия, 1930. 77 с.
9. [Шкловский 2018] — *Шкловский В.* О писателе и производстве // Собрание сочинений: в 2 т. Том 1. Революция. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 625–631.

Список литературы

1. [Барт 1989] — *Барт Р.* Из книги «Мифологии» // Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 46–131.
2. [Брик 2000] — *Брик О.* Ближе к факту // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000. С. 80–86.
3. [Грамши 1959] — *Грамши А.* Народная литература // Избранные произведения: в 3 т. Том 3. М.: Издательство иностранной литературы, 1959. С. 513–546.
4. [де Серто 2013] — *де Серто М.* Изобретение повседневности. 1. Искусство делать. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 330 с.
5. [Калинин 2012] — *Калинин И.* Угнетенные должны говорить: массовый призыв в литературу и формирование советского субъекта, 1920-е — начало 1930-х годов // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 587–664.
6. [Костин, Попов 2021] — *Костин А., Попов С.* Конец дисциплины. О чтении гомофобных стихов, силе, каноне и беседах. URL: [link](#) (дата обращения: 29.10.2021).
7. [Фуко 2002а] — *Фуко М.* Интеллектуалы и власть // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. С. 66–81.
8. [Фуко 2002b] — *Фуко М.* Политическая функция интеллектуала // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. С. 201–210.

9. [Хелльбек 2017] — *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 424 с.
10. [Чубаров 2018] — *Чубаров И.* Теория медиа Вальтера Беньямина и русский левый авангард: газета, радио, кино // Логос. 2018. № 28. С. 233–260.
11. [Halfin 1997] — *Halfin I.* From Darkness to Light: Student Communist Autobiographies of the 1920s // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1997. H. 2. S. 210–236.
12. [Paperno 2009] — *Paperno I.* Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams. New York: Cornell University Press, 2009. 304 p.
13. [Spivak 1988] — *Spivak G.C.* Can the Subaltern Speak? // *Marxism and the Interpretation of Culture* / Edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg. London: Macmillan Education LTD, 1988. P. 271–317.

Степан Денисович Попов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), Школа гуманитарных наук и искусств, магистерская программа «Русская литература в кросс-культурной и интермедиальной перспективах»
stepanpopov15@gmail.com

Stepan Popov

National Research University “Higher School of Economics” (St. Petersburg), School of Arts and Humanities, MA programme “Russian Literature in Cross-cultural and Intermedial Perspective”
stepanpopov15@gmail.com